



А. К. ДЖИВЕЛЕГОВ

На острой грани

(К вопросу о русской интеллигенции)

I

Русская интеллигенция, несомненно, переживает серьезный кризис. Старые идеалы перестали удовлетворять всех. От них отвертываются, порою с грустью, порою с насмешками. На их место пытаются поставить новые идеалы, а чаще всего пробуют жить совсем без идеалов.

Первый вопрос, на который мы должны ответить, установивши существование этого кризиса, заключается в том, почему именно данный момент оказался особо благоприятным для такой вспышки. Ибо если мы найдем правильное объяснение этому факту, и весь вопрос сразу станет яснее.

Для того чтобы понять, в чем заключается связь переживаемого нами момента с кризисом интеллигенции, нужно прежде всего сделать справку о том, каково в данный момент положение интеллигенции на общественно-политической арене.

Интеллигенция все время шла во главе освободившегося движения. Ей доставалась честь начать атаку на неприятельские позиции и принять на себя удар обороняющегося неприятеля.

Борьба оказалась нелегка. Она была проиграна после нескольких успехов, и до сих пор, несмотря на все усилия, поправить дело не удастся. Результатом всей этой эволюции является усталость, растерянность, потеря веры в себя, лихорадочные поиски за волшебным мечом, владея которым можно победить, суд над старыми идеалами.

Та политическая атмосфера, которая создавалась благодаря соединенным результатам правительственной политики успокоения и думской тактики приспособления, как нельзя больше

располагает к биению в перси и к иступленным: mea culpa!¹ В стане побежденных чаще всего слышатся такие крики, а прогрессивная Россия — сейчас огромный стан побежденных, концентрационный лагерь небывалых размеров.

Если бы освободительное движение кончилось иначе, если бы оно было увенчано настоящей конституцией, а не уперлось в этот унылый тупик мнимого конституционализма — можно сказать с уверенностью, не было бы и вопроса о суде над интеллигенцией. Ибо победителей не судят, а меньше всего судят себя сами победители. Но так как победа досталась не ей, а ее противникам, то нужно найти какое-нибудь наименее обидное объяснение этого факта. Нужно найти какого-нибудь козла отпущения, чтобы освободить себя от обязанности искать объективных причин поражения.

Сначала партии обвиняли одна другую в том, что освободительное движение было проиграно. Партийные пререкания тоже были до известной степени распрею интеллигенции, но это не бросилось в глаза с такой очевидностью, ибо тогда речь шла о программах и тактике. Когда вследствие самой очевидной бесполезности и даже опасности для общего дела партийных пререканий, грозящих довершить дезорганизацию оппозиции, они несколько утихли и наметилось течение в сторону объединения, растерянность побежденных потребовала новых жертв.

Таково происхождение кризиса интеллигенции. Попробуем сгруппировать его характерные черты. Это не так просто, потому что кризис разветвился очень широко, по всем сферам культурной жизни, на которые привыкла накладывать свой отпечаток интеллигенция.

II

Беллетристика, чутко отражающая колебания общественной жизни, уже отметила несколько проявлений нового духа. Недавно еще по ней пронеслась холодная струя, напугавшая всех своим симптоматическим значением. Люди начали сомневаться не более не менее как в том, что самопожертвование во имя высокой демократической идеи имеет какой-нибудь смысл.

Этим нездоровым эгоистическим дыханием повеяло как-то сразу со страниц толстых журналов и из модных альманахов, которые принципиально шли всегда мимо жизни.

В «Белой вороне» Чирикова герой, только что вернувшийся из мест весьма отдаленных, говорит в одном из припадков нервной усталости: «Да стоит ли вообще народ тех жертв, которые мы ему приносим?» И вся дальнейшая общественно-психологическая эволюция его складывается под влиянием этого раздирающего сомнения.

В «Соседке» Сургучева², напечатанной в «Вестнике Европы», изображена драма партийной работницы. Она накануне «дела», но дороги ей не высшие идеалы справедливости и свободы, а один только темнокудрый студент, такой веселый и такой влюбленный. И она говорит ему в ответ на его пылкие объяснения: «А я хочу счастья, счастья!.. Понимаешь? Просто-го, маленького, но такого моего личного счастья... Хочу, понимаешь?» Это, впрочем, не мешает ей исчезнуть в таинственной тьме подвига.

В повести Вересаева «Из жизни» («Современный мир») автор показывает нам мир социал-демократов. И хотя они большевики, но речи их отзываются совсем не большевизмом. Один только что вышел из тюрьмы и ораторствует на вечеринке: «Ведь это нелепость — жизнь тысяч поколений освещается тем, что каким-то там людям впереди будет “хорошо жить”... Никогда никто серьезно не жил для будущего, только обманывал себя. Все жили и живут исключительно для настоящего, для блага в этом настоящем». Против этих слов автор заставляет спорить только рабочих. Интеллигенты, не успевши еще стать скептиками, сумрачно молчат. Один из тех, у кого не хватило смелости или внутреннего убеждения спорить со скептиком, пишет, готовясь лишиться себя жизни, брату, одному из вожakov партий: «Знаешь, такой маленькой кажется мне и твоя радость — жизнь, освещенная будущим. Неужели ты вправду веришь в нее? Ну, не сердись, прости меня. Ты, конечно, веришь. Иначе как бы ты мог жить. Но это вера — и не больше...»

В «Коне бледном» Ропшина³ («Русская мысль») тот же мотив. Революционер занят определенным делом, которое он в теории считает важным и нужным. Но психологическая эволюция уже давно сделала то, что своим личным делом он занят гораздо более, чем тем, которое ему доверили. Любовь женщины для него важнее всего, его мучит ревность к ее мужу, он с наслаждением убивает этого человека, стоящего на его пути. А когда это убийство выжило его любовь, жизнь теряет для него ценность. Тут только он обнаруживает, что у него потускнели идеалы и не осталось цели в жизни. И когда другие гово-

рят ему, говорят о том, что еще недавно было для него путеводной звездой, он не понимает. Понял он теперь одно: «В детстве я знал любовь, материнскую ласку. Я невинно любил людей, радостно любил жизнь. Я не люблю теперь никого. Я не хочу и не умею любить. Проклят мир и опустел для меня в один час: все ложь и все суета». И хватается за револьвер, чтобы пустить себе пулю в лоб.

У Арцыбашева в «Рабочем Шевыреве» (альм<анак> «Земля») — мотив опять однородный. Революционер, ополчившийся за народ на угнетателей, в своей борьбе обретает презрение и ненависть к народу. «Они так несчастны, жалки, слабосильны и глупы, что позволили себя миллионами загнать под стол, на котором их же мясом обжираются десятки более слепых, жестких, злых и дрянных». И единственным разрешением борьбы живущего еще в неизведанных глубинах его души инстинкта его любви к народу с этим чувством ненависти является гибель.

Мы берем примеры наиболее яркие. Их число можно было умножить без большого труда. Но и приведенных более чем достаточно. Еще немного, и народ вновь будет объявлен «фефелю», как это уже случилось однажды, в момент первой лихорадки растерянности.

Если мы попробуем точнее формулировать причины нового настроения, поскольку их можно уловить по перечисленным беллетристическим произведениям, то их придется указать две. Первая — конфликт личного момента с общественным. Вторая — разочарованность в народных силах. У Сургучева и Ропшина действует первая, у Чирикова и Арцыбашева — вторая, у Вересаева переплетаются обе.

Общее в том и в другом — это вспыхнувший вдруг эгоизм. В одном случае человек жалуется на то, что общественное дело мешает личному делу, в другом — негодует, что на его плечи падает непосильное бремя и что те, для кого он работает, не умеют или не могут облегчить это бремя.

Типичные симптомы моментов усталости и растерянности! В эпохи подъема и возбуждения конфликтов общественного с личным не бывает. Общее дело не мешает ощущать полноту личного счастья. Наоборот усиливает это ощущение. Сознание одиночества в борьбе не подрезывает крылья, а расправляет их еще шире, еще могучее.

Наоборот, если тоска по личному заставляет тускнеть общественные идеалы, если возможность устроить личное благополучие заставляет уходить от жизни и общественное дело не удерживает от этого, если становится возможно разочарование

в работе, венец которой свобода и царство общественной солидарности, — верный признак, что кризис налицо.

Когда кризис существует, он скоро получает теоретическую формулировку. Художник первый прощупал его, но формулу ему дает публицист. Так и у нас.

III

Первая по очереди формула, если не считать тех, которые беспрестанно выпускаются модернистами всех оттенков, появилась, кажется, в «Бодром слове» и гласила: долой стеснения, налагаемые направлением. Направление — один из коренных символов веры русской интеллигенции, и «бунт против направления» был бунтом против всего этого символа веры. Большого шуму, впрочем, эта формула не сделала.

Серьезнее отнеслись к теории «национального лица», которой «Слово» дало приют на своих столбцах. Это был бунт против другого члена интеллигентского символа веры — анационализма.

Остановимся на нем подробнее. Маленький эпизод в литературном кружке, где Чириков и Арабажин говорили что-то о несходстве бытовых условий в жизни русского человека и еврея, дал повод для теоретических деклараций⁴. Голубев нашел, что «русская национальность, ближе столкнувшаяся с другими национальностями в политической борьбе», поняла, что ошибочно прежнее мнение, «будто один только враг — старый режим», что русская народность «державная», а остальные, живущие на обширных пространствах России, — недержавные, что с евреями у русских может быть только временное сближение. Струве вслед за ними поторопился расставить точки над теми *i*, на которых их еще не было. «Нечто поднялось в умах, — говорил он, — проснулось и успокоится. Это проснувшееся требует, чтобы с ним считались и посчитались». Что же это? Струве отвечает: «Национальное лицо». Потом он поясняет: «Наше русское национальное чувство в тяжелых испытаниях последних лет возмужало и окрепло», и один из признаков этого — то, что у русской народности или, по крайней мере, у ее «широких слоев» замечается «отталкивание от еврейства». И когда ему стали указывать на многочисленные логические и особенно политические неудобства его нового аватара⁵, Струве в одной из следующих статей дал теоретическое обоснование своей точки зрения.

«К национальным вопросам, — говорил он, — в настоящее время прикрепляются иные, подчас бурные чувства. Чувства эти, поскольку они являются выражением сознания своей национальной личности, вполне законны, и принципиальное их подавление есть глубокая ошибка и великое уродство. Такое угашение загоняет эти чувства внутрь, и они могут тогда вырываться наружу действительно в искаженном и изуродованном виде и производить настоящие опустошения. Разумное решение вопросов права этим угашением национального чувства не только не облегчается, а, наоборот, затрудняется».

Вывод отсюда один: самим евреям выгодно, что откроется наконец русское национальное лицо: «И, право, «асемитизм», сочетаемый с ясным и трезвым пониманием известных моральных и политических принципов и вытекающих из этих принципов государственных необходимостей гораздо более нужен и полезен нашим еврейским согражданам, чем сентиментально-дряблый «филосемитизм», не говоря уже о «филосемитизме» вынужденном или симулированном».

Натурально, ни евреи, ни последовательные русские демократы-националисты с этой точкой зрения согласиться не могут. От имени еврейства высказались Владимир Ж. и М. М. Винавер⁶. Первый именно и указал на то, что все разговоры о «державной русской народности» и «национальном лице» знаменуют собою появление в русской жизни «асемитизма», более культурной и менее крикливой формы «отталкивания от евреев», который прямо приводит к антисемитизму. Винавер указывает целый ряд еврейских типов (Левитан и др.), которые неудержимо рвут тонкую сеть рассуждений о национальном лице, и в конце своего письма обращается к Струве с таким дружеским упреком: «И потому, Петр Бернгардович, вам следовало бы еще призадумываться раньше, чем с такой решительностью говорить о пользе “асемитизма” для “еврейских сограждан” — и прибавлю от себя: и для русских сограждан».

Разумеется, вопрос не мог удержаться на той чисто культурной почве, на какой он возник. Он необходимо должен был перейти на общественную и политическую почву. И первыми перевели его, конечно, «друзья» из реакционного лагеря. «Россия» обрадовалась, что в прогрессивном лагере — маленький раскол. Ловко искажая мысли Струве, она писала: «Петр Струве заговорил о русском национализме, противопоставляя его еврейскому засилию, — Петр Струве — русский человек, просто проговорился и вдруг сказал то, о чем должен был молчать согласно “контракту” своему с еврейством на долгие годы. Но

Петр Струве, вообще, искренний человек, и как он прежде искренне заблуждался в могуществе революции, которую пропагандировал на страницах своего «Освобождения», так с той же искренностью он осознал ничтожество революции через несколько лет, когда разглядел ее как следует. С еврейским вопросом дело было, конечно, сложнее, ибо еврейский вопрос значительно сложнее и страшнее революции. Потому Петр Струве, вероятно, давно уже сознавал то, что он сказал теперь, но сказать не смел».

Читатель простит нам эту длинную выдержку. Она имеет то удобство, что позволяет не приводить других, из «Нового времени» и проч. Сопоставляя «изложение» взглядов Струве «Россией», легко увидеть, насколько прав был Винавер, говоря, что Струве «следовало призадуматься»... Разумеется, Струве не виноват в том, что реакционные издания коверкают его мысли, но самая возможность такого коверкания в данный момент призывала к осторожности. Именно это имел в виду Милюков, говоря, что «конституционные и демократические элементы русского общества в огромном большинстве от «национального лица», открытого П. Б. Струве, предпочтут отвернуться». Милюков верно указывает и источники ошибки сторонников новой истории: «Если бы, — говорит он, — они прямо начали с изложения тех «моральных и политических принципов», о которых здесь идет речь, то, может быть, удалось бы сразу, без всяких хитросплетений, выйти из того сомнительного положения, в которое они себя поставили. И мы увидели бы сразу «честное и доброе лицо» русской интеллигенции, очень часто плутающей во всяческих дебрях, иногда страдающей повышенной нервностью, излишней обидчивостью, но всегда, даже в самых сомнительных положениях, инстинктивно умеющей сберечь это свое «честное и доброе лицо»... даже от нововременских поцелуев».

В общественном смысле эти выражения вполне решают судьбу теории национального лица. С логической стороны она никогда не могла рассчитывать на длительный успех вследствие своей крайней неопределенности и неряшливости. Но она интересна как симптом переживаемого культурного кризиса.

IV

Все рассмотренные до сих пор признаки кризиса не имеют еще характера прямого нападения на интеллигенцию. Просто

то тут, то там люди, уставшие в борьбе, неоправившиеся от растерянности, причиненной поражением, ищут панацеи, способной предохранить от поражений в будущем. Вместо того чтобы глядеть вперед и впереди находить путеводные огни для деятельности, они беспокойно оглядываются назад и линии будущей тактики стараются выкроить по случайным указаниям прошлого, не обобщенным и едва ли как следует продуманным.

Но на этом дело не остановилось. Интеллигенция дождалась самого настоящего обвинительного акта. Это — «Вехи», плод коллективного творчества целой компании растерянных людей, где интеллигенции ставится в вину все что угодно, кончая чуть не землетрясением в Сицилии.

Вполне понятно, что такой общий обвинительный акт должен был в конце концов появиться. Ибо если в мировоззрении интеллигенции так много неблагоприятного, если среди ее доктрин так много ложных, то, очевидно, она больна каким-то органическим недугом. «Вехи» и стараются его обнаружить.

Посмотрим сначала, как формулируется обвинение. Вот что говорит, например, А. С. Изгоев: «Средний массовый интеллигент в России большей частью не любит своего дела и не знает его. Он — плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист, непрактичный техник. Его профессия представляет для него нечто случайное, побочное, не заслуживающее уважения». Это, так сказать, общая характеристика. В других статьях сборника она развивается. Н. А. Бердяев утверждает, что у интеллигенции нет любви к истине, открываемой философией. С. Н. Булгаков нашел в ней антихристово начало. Б. А. Кистяковский говорит, что в ней слабо правосознание. П. Б. Струве обвиняет ее в анархизме*. М. О. Гершензон ставит такой почти медицинский диагноз интеллигенции: «Наша интеллигенция на девять десятых поражена неврастением. Между нами почти нет здоровых людей — все желчные, угрюмые, беспокойные лица, искаженные какой-то тайной неудовлетворенностью. Все недовольны, не то озлоблены, не то огорчены. То совпадение профессии с врожденными свойствами личности, которое делает работу плодотворной и дает удовлетворение человеку, для нас невозможно, потому что оно осуществляется только тогда, когда личность выражена в сознании». Он же в другом месте другими словами выражает ту же мысль, которую, очевидно,

* «Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему».

ощущает с большой остротой и болезненностью: «Мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть, русских интеллигентов, и уродство наше даже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное... Жизнь русского интеллигента — личная, семейная, общественная — безобразна и непоследовательна, а сознание лишено существенности и силы». Или еще: «В целом интеллигентский быт ужасен: подлинная мерзость запустения, ни малейшей дисциплины, ни малейшей последовательности даже во внешнем; день уходит неизвестно на что, сегодня так, а завтра по вдохновению, все вверх ногами. Праздность, неряшливость, гомерическая неаккуратность в личной жизни, грязь и хаос в брачных и вообще в половых отношениях, наивная недобросовестность в работе, в общественных делах необузданная склонность к деспотизму и совершенное отсутствие уважения к чужой личности, перед властью то гордый вызов, то покладистость, не коллективная, — я не о ней говорю, — а личная».

Отчего же происходит все это неблагополучие? Откуда пришли на интеллигенцию все эти казни египетские? Где бациллы того разложения, которого она сделалась жертвою?

Конечно, веховцы имеют на все это готовые ответы или, вернее, один готовый ответ.

Приведем еще несколько формул: «Русский интеллигент, — говорит Гершензон, — человек, признающий единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто лежащее вне его личности: народ, общество, государство». Бердяев находит у интеллигенции «исключительное, деспотическое господство утилитарно-морального критерия, столь же исключительное, давящее господство народолюбия и пролетаролюбия». Он же уверяет, что «любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру и народному благу парализовала любовь к истине». Булгаков называет политическим монополизмом «Аннибалову клятву борьбы с самодержавием»⁷.

Между тем самая большая задача человеческого существования не в этом: общей платформой авторов сборника является «признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие (?) начала политического порядка является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства». Для большинства из участников «духовная жизнь личности» окрашена в самые определенные цвета религии, и примат внутреннего

над внешним разрешается в примат религиозного начала над материальным.

Мы вернемся к анализу этой идеи, а пока коснемся одного очень существенного вопроса.

Некоторые из участников сборника, больше всех Гершензон, усмотрели в народе черты какой-то чисто махаевской враждебности к интеллигенции. «Бессознательная ненависть к интеллигенции превозмогает в нем всякую корысть», пишет он, подразумевая под корыстью побудительные мотивы к социальной реформе, и немного ниже мы читаем такую поистине чудовищную тираду: «Бояться народа мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». А Струве, подходя к вопросу об отношениях интеллигенции и народа с другой стороны, утверждает, что «народническая, не говоря уже о марксистской, проповедь в исторической действительности превращается в разнуздание и деморализацию».

В чем же тут секрет? А в том, что под интеллигенцией на протяжении всего сборника подразумевается не интеллигенция вообще, а интеллигенция революционная; это — «кружковая интеллигенция» Бердяева, это та интеллигенция, которую Струве тщательно отграничивает от просто «образованных». И нет страницы, где бы не сказывалось это произвольное ограничение объема понятия «интеллигенция» до такой степени, что весь сборник приобретает характер партийного памфлета, направленного умеренно-либеральной частью интеллигенции против радикальной.

В этом, как нам кажется, одна из главных особенностей сборника. Дело не столько в том, что нападки на русскую интеллигенцию как таковую несправедливы. Центр тяжести в той границе, которая произвольно проводится по живому телу русской интеллигенции. Этим и объясняется, что в бухгалтерии обвинительного акта все балансы подведены криво и косо.

V

После этих замечаний мы можем перейти к анализу той основной реформы, путем которой веховцы думают вылечить русскую общественную жизнь от главного недуга, ее одолевающего, и восстановить нормальные отношения между интеллигенцией и народом: чтобы народ не скалил зубы против интеллигенции и чтобы интеллигенция не деморализовала и не

разнуздывала народ. Этот анализ, как мы надеемся показать, установит две вещи: во-первых, что новые пророки, предлагая свои лекарства, упустили из виду особенности политического развития России, и, во-вторых, что они не придают ни малейшей цены тем политическим задачам, без успешного разрешения которых невозможно правильное развитие России.

Интеллигенция — идейная руководительница народа. Она должна указывать ему путь к социальному благополучию. До сих пор интеллигенция считала и продолжает считать первым шагом к этому становление правового порядка. В этом новые пророки видят коренную ошибку интеллигенции, ошибку настолько серьезную, что она разорвала связь ее с народом. Чтобы стать вновь родной народу и найти доступ к его душе, интеллигенция должна разбудить в себе те струны, которые одни способны заставить звучать струны народной души, — этико-религиозные. Следовательно, преобразованию внутренней жизни должен принадлежать приоритет над преобразованием жизни внешней.

В литературе по вопросу, нас занимающему, эта идея, нам кажется, — наиболее центральная и единственная, которая получила положительную формулировку. Намеки на нее имеются в повести Вересаева. Полнее всего она изложена в «Вехах».

Речь идет о целой культурной реформе, очень важной. Если бы эта реформа могла осуществиться, она, быть может, оказалась бы очень плодотворной. Кто знает? Следовательно, прежде всего нужно разрешить вопрос, осуществима ли она при существующем в России в данный момент общественно-политическом укладе? Что говорят в этом отношении объективные данные?

Прежде всего следует напомнить факт, о котором, кажется, забыли писавшие по этим вопросам.

То, что говорят нам теперь, во многих отношениях лишь попытка возродить нравственно-религиозную проповедь человека совсем другого калибра, чем веховцы, Льва Толстого. Ибо если не вполне одинаково здесь и там философское содержание, то общественный смысл один и тот же. Недаром из Ясной Поляны пришло «Вехам» одобрение и благословение.

Но и русский народ, и русская интеллигенция отвергли призыв величайшего из живущих русских людей. Значит, были для этого какие-нибудь объективные основания. Новый веховский реформатор в сравнении с яснополянским богатырем — бальмонтский «человечек современный, низкорослый, слабосильный». Его проповеди не хватает титанической мощи тол-

стовского слова. Можно ли было предполагать, что Россия, которая не пошла за Толстым, пойдет за Гершензонами и Изгоевыми?

Нам кажется, наоборот, что неудача толстовской проповеди должна была заставить задуматься над тем, что эту неудачу обусловило. Если бы новые пророки задумались, они бы нашли причины; если бы они нашли причины, они, быть может, подождали бы открывать свои идеи обновления.

Но они этого не сделали. Попробуем мы поискать эти причины.

Нет ничего удивительного, что в поисках за примерами морального перерождения веховцы не вышли из пределов Англии, притом Англии пуританской — Бениан и Карлейль, Карлейль и Бениан. И кончено. Кризис нравственно-религиозного сознания у Бениана, «бафометическое крещение огнем» профессора Тейфельсдрека⁸ — то и другое, правда, очень типично, но типично именно для пуританской Англии XVII—XIX веков. Если бы проповедь самоуглубления путем религии как средства восстановить взаимное понимание между интеллигенцией и народом — была обращена к английскому обществу, это показало бы, что гг. проповедники хорошо понимают основной моральный нерв, которым живут широкие круги английского народа. Говоря то, что они говорят русской интеллигенции, они обращаются не по адресу.

Со времен английской реформации религиозные вопросы, взятые во всей их философской глубине, во всем их мистическом проникновении, наполняют внутреннюю жизнь англичанина если не вполне, то в значительной мере. Оттого английское общество и рождает Бенианов и Карлейлей. Они выросли на почве широчайшей веротерпимости, на почве, питающей живое, свободно развивающееся сектантское движение. Обращаться к такому обществу с живой проповедью обновления, навеянной и углубленной религиозным моментом, значит почти наверное встретить живой отклик, возбудить спор, т. е. интерес.

VI

Религиозное развитие русского народа шло иным путем, чем религиозное развитие английского. В России естественному росту религиозного сознания не дали развиваться свободно. Перед ним поставили бюрократическую плотину. Никонианская ре-

форма разбила русский народ на две неравные половины. Одна покорно и равнодушно приняла от бюрократии указанные заветы. Другая не подчинилась, ушла в подполье и пассивным сопротивлением пробовала отстоять свое право верить и молиться так, как подсказывает совесть.

Как реагировала на этот основной факт русской жизни русская интеллигенция? Она пробовала отстоять свободу совести, но, покоренная, вскоре утратила всякий интерес к религиозным вопросам, сосредоточив свое общественно-политическое внимание на другом. Ибо не было почвы, питающей религиозную интеллигенцию. Если в начале XX века десяток интеллигентов, прочитав по пяти-шести немецких книжек, стали ходить ко всенощной и вынесли религиозную проповедь на арену публицистики, то ведь это не значит, что питающая почва русской общественности стала рождать Бенианов и Карлейлей.

Откуда возьмет интеллигентская масса религиозное одушевление?

Но это не единственное объективное затруднение. Допустим даже, что свершилось чудо и интеллигент путем собственного духовного роста приобщился к лику Бенианов.

Как он понесет в народ свою проповедь?

Тут выступает другое обстоятельство, о котором новые пророки не хотят ничего знать.

Вспомните Вольтера. Когда к нему пришел со своим маленьким внуком Вениамин Франклин и попросил великого старика благословить ребенка, Вольтер положил дрожащую руку на кудрявую головку и сказал: «Dieu et liberté»⁹. Он хорошо понимал в XVIII веке то, что нынешние дейсты не понимают в XX: что без свободы нет Бога.

Повторяем, мы вовсе не думаем отрицать огромной важности той культурной реформы, которую предлагает Струве с товарищами. Она очень важна. И если бы она была осуществима, она, быть может, была бы способна влить в народный организм России ту нравственную силу, которой ему недостает и которая создала несокрушаемую мощь Англии. Но они берутся за дело до такой степени не с той стороны, что если бы только кто-нибудь имел несчастье им поверить, он в лучшем случае пошел бы на комический провал, а может быть, на нечто худшее.

Ошибка их — ошибка всех пророков. Выступая с проповедью нового, они в старом не видят ничего здорового и отвергают его целиком. А в данном случае это вносит дезорганизацию в начатое и кое-как подвинутое дело и не дает никакой надежды на то, что в другом направлении борьба будет удачна.

Они упрекают русскую интеллигенцию в том, что она оценивает каждую вещь исключительно с точки зрения полезности или вредности ее в освободительной борьбе.

Русская интеллигенция делала много ошибок и промахов. Но то, что теперь выставляют как ее тактическое заблуждение, — один из неоспоримейших титулов на благодарность от русского общества.

Культурная реформа такого обширного диапазона, о которой идет речь, невозможна, пока не проведена реформа политическая, ибо никакое широкое культурное начинание не может осуществиться вне рамок действительного правового порядка. Для успеха какой бы то ни было культурной работы нужны свобода слова, свобода совести, свобода печати, прежде всего свобода печати. А где вы возьмете все эти свободы, пока нет правового порядка?

Когда трудящиеся классы делали первые шаги для завоевания достойных человека условий существования, их вожди — чартисты¹⁰ в Англии, Луи Блан¹¹ во Франции, Маркс и Лассаль в Германии — сказали им: необходимо раньше провести политическую реформу и только тогда можно работать над реформой социальной. С культурной реформой повторяется буквально то же.

А надеяться на то, что путь нравственно-религиозного перерождения, на который нас зовут теперь, приведет без политической реформы к тем благам, которые при других условиях являются только вместе с правовым порядком, — идея по меньшей мере странная. Она отдает какой-то... каким-то культурным синдикализмом, отличающимся от социального тем, что у него еще меньше шансов на существование.

Вот почему вся эта конструкция — не более как утопия. Как всякая утопия, она вредна тем, что отвлекает от практических целей и направляет к бесплодным мечтаниям.

Пока политическая задача еще не решена, т. е. пока нет правового порядка, все силы должны быть направлены в эту сторону.

А для решения политической задачи нужны два условия: объединенность и вера в свое дело.

До тех пор пока интеллигенция разрозненна, до тех пор пока в ее среде идут раздоры, она будет всегда разбиваема по частям. До тех пор пока в ней нет веры в победу, поражения будут ее постоянным уделом.

Поэтому всякая проповедь, которая подрывает веру в более счастливое будущее, всякая теория, которая дробит интеллигенцию, будут водою на мельницу реакции.

VII

Когда говорят, что народ не стоит жертв, что вместо того, чтобы бесплодно приносить свои силы на алтарь народного освобождения, лучше отдать их на дело внутреннего самоусовершенствования, тут прежде всего остального кроется капитальное недоразумение.

Ведь жертвы пойдут не только на пользу народу как трудовым элементам, а на пользу всего русского общества.

Крестьянину нужна земля, а рабочему сносное социальное законодательство. Крупному промышленнику — свобода от административной опеки и т. д. Это, конечно, очень важно. Однако этим политическая задача не исчерпывается. Ибо всем нам, от Плеханова до Струве и Шилова, нужны гарантии личной и общественной свободы, без которых мы вечно будем влачить жалостное существование. И именно в данный момент, при данной обстановке есть много задач, которые могут разрешаться и будут разрешаться общими силами, хотя бы в общей дислокации общественных групп. Эти силы стояли далеко одна от другой. Например, разве не одинаково важен для промышленника, как и для рабочего действительный контроль над расходом народных денег?

Когда говорят, что необходимо русскому обществу показать свое национальное лицо, это уже не недоразумение и не упадок веры, а самая настоящая и самая опасная политическая нерасчетливость. Если русское общество начнет показывать свое национальное лицо, т. е. подчеркивать те свои черты, которые не похожи ни на польские, ни на еврейские, то этим самым оно заставит и другие народности по необходимости показывать свои национальные лица. И в тех случаях, когда единство является государственной необходимостью, вдруг окажется, что Финляндия разглядывает в зеркало свое национальное лицо, что Польша плохо разбирается между лицами русской бюрократии и русской интеллигенции, что многочисленные кавказские национальные лица повернулись в сторону Турции и т. д. Трудно себе представить теорию, более способную дезорганизовать силы оппозиции.

Когда говорят, что интеллигенции единой нет, а есть интеллигенция *par excellence*¹² и есть просто образованные люди, то это еще один из способов посеять рознь там, где она была заметна менее всего. До сих пор классовые деления интеллигенции в России были крайне эмбриональны.

До 1905 года этих делений почти не было. Они стали появляться во время революции, но недоразвились и теперь чахнут вновь. Это и понятно, ибо интеллигенция всегда меньше всего отражала классовые интересы. Начинаящееся вновь объединение интеллигенции — отрадный признак, его нужно поддерживать и во всяком случае ему не нужно втыкать палки в колеса. А теория, проводящая резкую границу между интеллигенцией и просто образованными, именно есть такая палка; она дает примеры этого деления, причисляя к интеллигенции революционную часть просто образованных, а к просто образованным примиренскую часть интеллигенции. Это разделение и надуманно, и не отвечает существующему положению, которое во всяком случае не так уж просто, и крайне вредно, ибо вновь упрямо хочет проводить партийные границы как раз на том месте, быть может, на том единственном месте, где они начали стираться. Какая-то доктринерская игра, от которой может быть весело разве реакции.

Когда говорят, что в настоящий момент между интеллигенцией и народом не только нет точек соприкосновения, но что народ питает к интеллигенции ненависть, защиту от которой впору искать под крылом полиции, — это уже просто-напросто стоит на границе злостных измышлений. Распространять такие взгляды значит сеять рознь между интеллигенцией и народом. Кому это нужно и с какой точки зрения нужно, мы перестали понимать с тех пор, как под таким положением нашли подпись честного и искреннего литератора.

Критики интеллигенции дошли до ребра острой грани, по другую сторону которого — отрицание свободы и идеалов, до сих пор светивших интеллигенции.

Это не измена, ибо мы знаем новых пророков как людей безукоризненно чистых и искренних. Но это хуже измены.

Мы должны напомнить прежде всего один лозунг: единство.

Нет «образованных людей» отдельно от интеллигенции, нет интеллигенции, которая хотела бы не того, что «образованные люди». Есть одна цельная, русская интеллигенция, служащая народу, по необходимости стремящаяся к разрешению прежде всего политической задачи.

(Северное сияние. М., 1909. № 8. С. 52—71)

